



Нет
Лет





1981 г.



* * *

Если снова в глазах так защиплет
от безвременных стольких смертей,
мне страшна не моя беззащитность,
а любимой и наших детей.

И никак во мне страх не растает,
если времени вопреки
на их темечках не зарастают
розоватые «роднички».

Я и сам лишь кажусь защищенным.
Убежав от пинков даровых,
я скулю беспородистым щёном
среди стольких машин дорогих.

Не прочитан я, а зачитан.
Замусолен, захватан я весь.
Кто прославленной — тот беззащитней.
Слава — самая хрупкая вещь.

Мир в осколках, как в битой посуде.
Норовя похрустеть побольней,
наступают стеклянные люди
на таких же стеклянных людей.

Что в России, себя доконавшей,
нас, быть может, сумеет спасти?
Понимание хрупкости нашей
и невечности вечности.

28 марта 1997





ПОХОРОНЫ ОКУДЖАВЫ

Сколько б жизнь меня ни ухудшала,
я из тех,

в ком вечен Окуджава.

Отвергая жирную державность,
худенькая совесть удержалась
акробаткой-девочкой в стране
на гитарной тоненькой струне.

Прощаться шел с тобой,

Булат,

весь в шестидесятниках Арбат.

Мы пионерлагерники.

Мы

беглецы из крымской Колымы,
той,

где красногалстучных калек
у своих костров

ковал Артек.

Мы не стали копиями точненькими
Павлика,

не стали «будьготовчиками»,

Не сгорели мы на тех кострах.
Мы —
 плеяда победивших страх,
но у нас на лицах,
 как овраги,
отпечатки танков наших в Праге.

Шли семидесятники вослед —
в тюрьмах не пришлось им досидеться
до надежд прекрасных диссидентства —
ни надежд,
 ни диссидентов нет.
Каждой новой власти не под стать
те, кто помогли ей властью стать.

Шли семидесятницы-старушки,
до сих пор легендами не став,
а когда-то гордо шли в психушки
девочками в беленьких носках.
Но и в лагеря к ним прилетала,
утешая все-таки во сне,
та гитара
 с лялочкой,
 с веревочкой,
та гитара с песенкой-дюймовочкой
на покрытой инеем струне.

Шли восьмидесятники.

Им всем
выпала лишь вера в IBM,
ибо верить больше было не во что,
но все та же худенькая девочка
их не оставляла насовсем,
и, качаясь на струне Булата,
верила во что-то виновато,
чувствуя огромную страну,
как свою огромную вину.

Шли они —
ни лирики,
ни физики,
первые идеалисты-бизники,
прежде чем возникли бизнюки, —
в блейзерах Версаче слизняки.

Девятидесятников почти
не было.

Слиняли.
Не почли.

Им скушна тусовка при гробах.
Любящий стихи

в их поколеньи
редок,
вроде дикого оленя
в дискотеке
с васильком в зубах.

Появилась новая свобода
неприхода
молодых на похороны тех,
кто свободу добывал для всех.
Сладкая свобода нечитанья
перешла в ленцу непочитанья,
даже в похоронную ленцу.
Неужели поколенью наших
отпрысков,
 очередей на знавших,
очередь у гроба не к лицу?
Ну а если вдруг умрет страна?
А надежда-девочка?
 Струна?

Впрочем,
 при потере поколения
в будущем верней возможность гения.
И притихший кроха-девятистик,
розовый, как пороссячий хвостик,
на Арбат смотрел, как на Лицей,
поднят над стотысячной толпою
над усталым веком, над собою
бабушкой-шестидесятницей.

Нет, не бессловесный гимн державы —
она пела песни Окуджавы
потихоньку внуку своему,
и поверх попсовщины бездарной

по струне гитарной, легендарной
девочка-надежда шла к нему.

Научили горькие уроки —
есть в своем отечестве пророки.
Смелость их берет все города, —
правда, запоздало иногда.
Как же я в России разуверюсь,
если в ней поруганная ересь
классикой становится всегда?

Поколенья целого потерю
в поколениях возместит иных
твой, Россия, вечный, млечный стих.
В девяностых не верю.
Верю в девяностиков твоих!

Июнь — июль 1997





ЧУТЬ-ЧУТЬ

Чуть-чуть мой крест,
 чуть-чуть мой крестик,
ты — не на шее,
 ты — внутри.
Чуть-чуть умри,
 чуть-чуть воскресни,
потом опять чуть-чуть умри.
Чуть-чуть влюбись,
 чуть приласкайся,
чуть-чуть побудь,
 чуть-чуть забудь,
чуть-чуть обидь,
 чуть-чуть раскайся,
чуть-чуть уйди,
 вернись чуть-чуть,
Чуть-чуть поплачь —
 любви не дольше,
как шелуха,
 слети с губы,
но разлюби чуть-чуть —
 не больше!
и хоть чуть-чуть не разлюби.

Март 1997



* * *

Все монеты глядят выжидающе —
на глаза мои прыгнут вот-вот,
и хотелось бы выше,
дальше,
да могила ждет.
Как бы договориться с могилою,
объяснить, что я занят,
пока
еще делаю глупости милые,
еще пишет рука.
Развращает идея бессмертия.
Мы не ценим отпущенных крох,
и, к несчастью, есть нечто последнее —
взгляд,
вдох.
Не был я заодно со злодеями,
ну а вдруг подкрадется смерть,
и последнее,
мной содеянное, —
грязь,
мерзь?

Не был выродком я рядом с выродками.
Неужели умру, как пошляк,
А последнее слово выроненное —
шлак?

Проповедничал я лишь по слепости,
Смерть,

ты за руку ввысь поведи
до вершины прозревшей последности —
до нагорней исповеди!

Я люблю все, что Господом дадено,
даже каждый малюсенький грех,
а бессмертия мне не надобно,
потому что оно —

не для всех.

Из народа оно меня вытеснит.

От бессмертия,

будьте добры,

упасите,

как от правительственной,
слишком липкой икры.

Март 1997





НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Когда я встретил Вл. Соколова,
он шел порывисто, высоколобо,
и шляпа, тронутая снежком,
плыла над зимней улицей «Правды»,
и выбивающиеся пряди
метель сбивала в мятежный ком.

Он по характеру был не мятежник.
Он выжил в заморозки, как подснежник.
Владелец пушкинских глаз прилежных
и пастернаковских ноздрей Фру-Фру,
он был поэтом сырых поленниц
и нежных ботишков современниц,
его поэзии счастливых пленниц,
снежком похрапывающих поутру.

В метели, будто бы каравеллы,
скользили снежные королевны
и ускользали навек из рук,
и оставался с ним только Додик —
как рядом с парусником пароходик,
дантист беззубый, последний друг.

Висели сталинские портреты,
зато какие были поэты!
О, как обчитывали мы все
друг друга пенящимися стихами
в Микишкин-холле, или в духане,
в курилке, или в парилке в бане,
в Тбилиси, Питере и Москве!

Рождались вместе все наши строчки,
а вот уходим поодиночке
в могилу с тайнами ремесла.
Но нам не место в траурной раме.
Непозволительно умиранье,
когда поэзия умерла.

На наши выстраданные роды
ушло так много сил у природы,
что обессидела потом она,
мысль забеременеть поэтом бросив.
Кто после нас был? Один Иосиф.
А остальные? Бродскоголосье —
милые люди или шпана.

Мы все — приемыши Смелякова —
Жана Вальжана века такого,
который сам себе гэбист и зек.
Мы получили с лихвою славу,
всю, недоставшуюся Ярославу,
но с нами вместе и он по праву
войдет в безлагерный новый век.

Еще воскреснет Россия, если
ее поэзия в ней воскреснет.
Прощай, товарищ! Прости за то,
что тебя бросил среди разброда.
Теперь — ты Родина, ты — природа.
Тебя ждет вечность, а с ней свобода,
и скажет Лермонтов тебе у входа:
«Вы меня поняли, как никто...»

25 января 1997

